

— MONSIEUR ILYA —

Хирург боярских кровей



V

Monsieur Пуа

**Хирург боярских кровей.
Источник. Том 5 Финал**

«Автор»

2026

Пуа М.

Хирург боярских кровей. Источник. Том 5 Финал / М. Пуа —
«Автор», 2026

Финал цикла. История завершается. Впервые за три года Глеб выпался. Мёртвая нога не разбудила его под утро, в груди ничего не скулит, и он ловит себя на том, что по этому поводу не чувствует ровно ничего. Это не выздоровление. Это счёт, который ему выставили: он отдал последнее живое, что в нём оставалось, и стал наконец тем, кого из него двенадцать лет растили — пустым и очень сильным. Земля уходит по суду, а вместе с землёй ломается ключ, ради которого его берегли. В доме сидит человек, который восемнадцать лет назад отпер ворота его убитым отцу и матери. За воротами — те, у кого не идёт пар изо рта, и правда про них хуже, чем всё, что он о них думал. А под полом дышит Источник, и Дверь в старице открывают изнутри. Он дойдёт. Он всегда доходит. Вопрос только в том, останется ли к концу этой дороги кто-нибудь, кто сумеет отличить его голос от чужого — и скажет ему «это ты», когда он сам уже не разберёт.

© Пуа М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Десять дней	5
Глава 2 Гари	17
Глава 3 Размен	26
Глава 4 Верёвка	34
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Хирург боярских кровей. Источник. Том 5 Финал

Глава 1 Десять дней

Глеб проснулся в четвёртом часу и встал сам.

Спал он пять часов и выспался, и это была первая за весну новость, которая ему не понравилась.

Сапоги стояли у лавки. Он обулся, притопнул мёртвой ногой по половице и не услышал ничего: ни боли, ни того тянущего звона, что будил его всю зиму под утро.

До двери он дошёл прежде, чем вспомнил про палку.

Палка стояла у изголовья, где он её бросил.

Захар спал в снях на сундуке и проснулся от скрипа.

– Барин?

– Спи.

– Ты куда?

– На двор.

Захар сел и стал шарить сапог.

– Я с тобой.

– Я сказал: спи.

– А я не сплю, – сказал Захар. – Третий месяц не сплю, покуда ты по ночам в подпол лазаешь. Отвык.

– Нынче не лазал.

– Знаю, что не лазал. Оттого и проснулся.

На дворе стояла та серая муть, которая на севере стоит утром до самых петровок.

Пахло мокрой золой. Вчера жгли орденский холст с подводы, и головни ещё дымили под моросью.

Глеб пошёл в обход, как ходил всякое утро с осени.

У ворот он остановился.

Створы были старые, те самые: сруб горел, а створы уцелели. Засов ходил туго, с одним и тем же коротким скрежетом, и полоса, приклёпанная снизу, была стёрта до синевы.

Он положил руку на створ и подвигал засов туда и назад.

Скрежетнуло.

– Захар.

– Тут.

– Скажи кузнецу, пусть выправит полосу и посадит на сало. Скрипит.

– Так он, барин, третий год скрипит.

– Оттого и говорю.

Захар постоял, соображая, не подвох ли это, и ничего не нашёл.

– Скажу.

За воротами было пусто. Займище лежало серое, в мокрой траве, и над старицей стоял туман – ровно такой же, как в тот день, когда пришла подвода.

Игнат шёл от колодца с двумя вёдрами и увидел Глеба поздно, шагов за десять.

Он не сбился с ноги. Он донёс вёдра, поставил у крыльца и распрямился, обтирая ладони о порты.

– Доброго утра, барин.

– Доброго.

– Марфа велела к свету две кадки. Я третью налью, коли надо.

– Налей.

Игнат кивнул и пошёл обратно, и Глеб глядел ему в спину и считал.

Весть ушла шесть дней назад.

По плотникову счёту оставалось четыре.

Это был первый срок, и он был короче всех.

Второй лежал со вчерашнего вечера в дальней избе и мерился сапогом.

Третий стоял в горнице, в столе, под угольной доской, и был он бумажный: извещение из уездного суда, слушание по калитинской земле на Петров день, ответчику явиться лично либо через поверенного, а в случае неявки решить по имеющимся.

До Петрова дня оставалось двенадцать дней, а до уездного города – четверо суток по нынешней воде.

Глеб сложил все три и увидел то, что видел всякое утро с самой подводы: у первого срока четыре дня, у второго десять, у третьего двенадцать, и всякий из трёх требовал его целиком и не делился.

– Игнат.

Тот обернулся.

– Ты когда в последний раз спал?

– Сплю, барин, – сказал Игнат. – Как все.

– Я тебя спросил не как всех.

Игнат постоял, держа пустые вёдра на весу.

– Третьего дня спал, – сказал он. – Не то чтобы спал. Полежал.

– Иди сюда.

Он подошёл. Глеб взял его за запястье, отогнув рукав, и нашёл жилу.

Жила била часто и мелко и проваливалась на вдохе.

– Дыши носом. Не в грудь, в живот.

– Я, барин...

– Молчи и дыши.

Игнат подышал. Жила пошла ровнее и всё равно частила.

– Марфа тебе даст пустырнику с валерьяном, – сказал Глеб. – Пить на ночь, полкружки, тёплым. Не поможет, скажешь, дам другое.

– Не надо мне, барин.

– Надо.

– Мне через четыре дня, может, ничего уже не надо будет.

Глеб отпустил его руку.

– Через четыре дня видно будет, – сказал он. – А нынче ты мне нужен с головой на плечах, а не с трясучкой. Пей.

– Слушаю.

Игнат пошёл к колодцу, и по тому, как он ставил ноги, Глеб понял, что тот не спал не третий день, а всю неделю.

Под рёбрами шевельнулось.

«Он и не должен спать. Ему через четыре дня в яму, а тебе от него польза ещё дней десять, коли не спалют раньше».

– Знаю, – сказал Глеб вслух.

Он постоял, ожидая от себя чего-нибудь, и ничего не дождался.

Стужин стоял на гати в двухстах шагах от гребня и глядел на воду.

Гать была старая, мощённая ещё при отце Глеба, и по ней шла вода: за ночь прибыло на ладонь.

– Боярич.

– Ростислав Кузьмич.

– Гляди сюда. – Стужин показал сапогом. – Вот эту стлань я вчера видел сухой. Нынче по ней течёт. К вечеру размочит край, а к завтраму пойдёт кусками.

– Значит, с гати не придут.

– С гати придут пешие и налегке, – сказал Стужин. – Конные и телеги – нет. Я бы, будь я у них старшим, ждал недели полторы и шёл большаком, а на гать поставил бы двоих глядеть, чтоб ты не утёк.

– А я, по-твоему, утеку?

– Ты нет. Ты к своему погребу прибит. – Стужин поглядел на него сбоку. – Дозоры я оставил, но людей с гребня сниму двоих на большак. Толку от них тут нету, а мокнут по-настоящему.

– Снимай.

– Ты даже не спросил, каких.

– Ты сорок лет воюешь, – сказал Глеб. – Я тебя не за тем держу, чтоб ты у меня спрашивал, каких двоих.

Стужин пожевал губами.

– Ишь ты, – сказал он. – Ну ладно.

Они пошли обратно вдоль гати. Стужин прихрамывал на левую, старую, и Глеб машинально отметил, как тот ставит стопу, и то, что колено у него набрякло к погоде.

– Ты колено чем мажешь?

– Ничем не мажу. Оно сорок лет ноет.

– Придёшь вечером, погляжу.

– Барин, ты меня лечить не начинай, – сказал Стужин. – Я к нему привык, как к бабе. Начнёшь лечить – помру с непривычки.

– Тогда не приходи.

– Да приду, приду. Чего уж.

Они дошли до гребня и стали.

– Ты вот что мне скажи, – сказал Стужин. – Ты которое утро ходишь без палки.

– Второе.

– И нога не тянет.

– Не тянет.

– А крышка сидит.

– Сидит.

Стужин помолчал.

– Я, боярич, в военном деле разбираюсь, а в вашем нет, – сказал он. – Только у меня примета есть простая. Когда воевода перестаёт мучиться – в полку жди беды.

– Отчего же?

– Оттого, что он мучился не зря. Он тем и жив был, что мучился. – Стужин сплюнул в воду. – Ладно. Дозоры я поставлю. А ты сходи к Печатнику, барин. Он ночью выл.

Глеб остановился.

– Как выл?

– Тихо. По-мужицки, в тряпку. Мой малый мимо шёл и слышал.

Никодима поселили в дальней избе, за баней, где прежде жили дегтяри.

Изба была тесная, но сухая, и Глеб велел топить её каждый день, потому что человек, которого два с половиной месяца везли под рогожей, промёрз до кости и обратно не согрелся.

Он вошёл без стука.

Никодим сидел на лавке у стола, босой, с задранными до колен портами, и Артём стоял перед ним на коленях и стягивал с него второй сапог.

– Не тяни, – говорил Никодим. – Верти. Верти и тяни.

– Я верчу, отче.

– Ты жалеешь. Не жалей.

Сапог сошёл с чмоканьем.

Артём отставил его, поднял голову и увидел Глеба, и покраснел.

– Барин, я...

– Пиши дальше, – сказал Никодим, не оборачиваясь. – Пиши, где стал. «А приказных на подворье четверо, из них старший ведаёт столбцами».

– Погоди, – сказал Глеб.

Он подошёл, взял табурет, сел напротив Никодима и поглядел на его ноги.

Ступни были белые, глянцевые, отёкшие так, что пальцы разошлись веером. Голени – как налитые бурдюки, и на них, поперёк, лежал синеватый рубец от голенища.

Глеб надавил большим пальцем над щиколоткой и подержал.

Ямка осталась и не выпрямлялась долго.

– Давно?

– Сапог налез с трудом в Твери, – сказал Никодим. – Это было двадцать девять дней назад. С той поры я его надевал всякое утро и всякое утро отмечал, легко ли.

– И?

– Нынче он не налез. – Печатник поглядел на свои ноги без всякого выражения. – Мальчишка натягивал вдвоём с Марфой. Натянули.

– Ляг.

– Мне ещё диктовать.

– Ляг, я сказал.

Никодим лёг на лавку. Глеб задрал ему рубаху и стал шупать.

Живот был мягкий сверху и тугой снизу. Печень выходила из-под рёбер на три пальца, край был плотный и ровный. Глеб постучал согнутым пальцем по боку и послушал, как отзывается, и обошёл живот кругом, и звук внизу шёл глухой и тяжёлый.

– Дыши.

Он приложил ухо к груди, потом ниже, потом к спине, велел сесть.

В лёгких, у самых углов, шуршало – мелко и влажно, как трут пальцами о сухую траву.

– Ляг обратно. Ноги повыше. Артём, сверни тулуп, подложи ему под пятки.

Артём кинулся сворачивать.

Глеб сидел, положив ладонь Никодиму на грудину, и слушал, как под ладонью ходит сердце.

Оно ходило часто, не в лад и с провалами.

– Ну, – сказал Никодим. – Говори.

– Что говорить?

– То, что нашёл. Я двенадцать лет читал пепел, боярин. Со мной можно.

Глеб убрал руку.

– Сердце сдало, – сказал он. – Правая половина. Оно не гонит, и вода стоит: в ногах, в брюхе, в лёгких по краям. Печень набухла оттого же.

– Отчего сдало?

– Оттого, что ты немолод и два с половиной месяца лежал связанный в холодной подводе, – сказал Глеб. – И прежде того сидел двадцать лет над столбцами, а не ходил.

– И сколько?

– Не знаю.

Никодим повернул голову.

– Ты знаешь.

– Я знаю приметы, а не срок. Срок – дело господне и телесное. – Глеб взял его руку, поглядел ногти и отпустил. – Приметы такие: покуда вода в ногах, ты живёшь. Как она подыметя в грудь и ты не сможешь лежать, а станешь спать сидя – это будет последняя неделя. Может, дней десять.

– Стало быть, я считал верно, – сказал Никодим. – Я считал по сапогу.

– Ты считал по сапогу лучше, чем иной лекарь по книге.

– Это дурная похвала лекарям.

– Это не похвала, – сказал Глеб. – Это про то, что тело считать умеет само, а мы к нему только приставлены.

Никодим полежал, глядя в потолок.

– Что делать станешь?

– Ноги держать выше. Соли в еду не давать вовсе, скажу Марфе. Пить меньше, чем хочется. – Глеб встал. – Дам наперстянку, коли найду доброй. У Аглаи, может, есть.

– Наперстянка – это лист такой?

– Лист.

– От неё, я слышал, мрут.

– От неё мрут, когда меры не знают, – сказал Глеб. – Мёру я знаю. Она тебе сердце подстегнёт, и вода начнёт сходить. Помочиться будешь бегать вдвое чаще и станешь ругаться.

– Я не ругаюсь.

– Станешь.

Никодим поглядел на него снизу.

– Ты меня лечишь, – сказал он.

– Лечу.

– Зачем?

Глеб задержался в дверях.

– Затем, что я лекарь, – сказал он. – Другого затем у меня нет.

– Есть, – сказал Печатник. – Тебе нужна тетрадь. Всякий день моей жизни – это ещё три листа про подворья, про чины и про то, как у них подписывают. Ты меня доишь, боярин, и правильно делаешь, и я на тебя за это не в обиде. Только не говори мне про лекаря.

Артём перестал скрипеть пером.

Глеб постоял.

– Обе правды, – сказал он. – Мне нужна тетрадь, и я лекарь. Разбирать, которая из двух главнее, я нынче не стану, потому что мне некогда.

– Вот это честный ответ, – сказал Никодим. – Прёжний был лучше на слух и хуже на вес. Он полежал, дыша, и повернул голову.

– Теперь ты меня послушай, покуда я в силе, – сказал он. – У тебя в горнице под доской лежит извещение из суда. Я его видел, когда меня туда сажали пить.

– Видел.

– Слушание на Петров день.

– На Петров.

– Двенадцать дней, – сказал Никодим. – А до уездного города четверо суток по нынешней воде, и то ежели не станет дождь. Ты это считал?

– Считал.

– И что вышло?

– Вышло с запасом в неделю, – сказал Глеб. – А неделя тут – это не запас. Это ровно столько, сколько нужно, чтоб что-нибудь стряслось.

– Ничего не случится, – повторил Никодим. – Боярин, за двадцать лет службы я не видал ни одного дела, где ничего не случилось. – Он поднял руку и уронил её обратно. – Садись, я тебе скажу, как это делают, потому что ты туда поедешь и всё сделаешь не так.

Глеб сел.

– Первое. Не жди, когда позовут. В уездном суде дело начинается не в присутствии, а накануне, за чаем у стряпчего, где раскладывают, в каком порядке подавать бумаги. Тебя в этот чай не посадят, но ты можешь подать своё прошение за день, при свидетелях и с распиской о принятии. Тогда его нельзя будет потерять.

– Потеряли бы?

– Непременно. Не по злобе, по порядку: у них своё дело подшито, а твоё приходит сбоку. – Никодим перевёл дух. – Второе, и оно главное. Не спорь с прошением. Оно верное. По бумаге медчина канцлер месяц был под чужой рукой, а раз под чужой – его отказ бред, а раз бред – отказа нет. Спорить с этим тебе нечем и не надо. Бей не по прошению. Бей по тому, кто его подал.

– Купеческий сын.

– Купеческий сын – это подпись. За подписью доверенность, а доверенность выправлена в губернском правлении, и там её кто-то заверил. – Печатник закрыл глаза. – Так что вези на суд не свою правду. Вези их бумагу и одну строчку из обители. Вклад в июле, род пресёкся в сентябре. И спроси вслух, при судейских и при писцах: коли род пресёкся в сентябре, отчего за него молились с июля?

– Он скажет, что не знает.

– Он и вправду не знает, – сказал Никодим. – Ему велели подписать. И когда он при всех скажет «не знаю» и станет видно, что за ним стоит кто-то, кого в бумагах нет, дело придётся отложить. Больше тебе там не выиграть ничего. Отложат до осени.

– Мне довольно осени.

– Тебе довольно. – Никодим открыл глаза. – Только имей в виду: как отложат, они перестанут брать тебя по закону и начнут брать иначе. И вот тогда тебе понадобится всё, что я успею наговорить твоему мальчишке. Так что не мешай мне помирать медленно.

– Диктуй дальше.

– Диктую. – Печатник повернулся к Артёму. – Пиши. «А приказных на подворье четверо, из них старший ведаёт столбцами и зовётся справщиком, хотя такого чина в грамотах нет».

Глеб вышел.

На крыльце дальней избы он постоял, дыша.

Артём догнал его через минуту, без шапки, с пером за ухом.

– Барин.

– Что?

– Он ночью не спал, – сказал мальчишка быстро и тихо. – Он сидел. Я думал, он молится, а он не молился. Он считал по пальцам и после сказал в темноту: «мало».

– Чего мало?

– Не знаю, барин. Он мне не сказал. – Артём переступил босыми ногами по мокрому. – Я, барин, третью ночь при нём. Я пишу быстро, как могу, а он говорит быстрее, чем я пишу, и всё торопится, и всё сначала переспрашивает, записал ли я про сургуч.

– А ты записал?

– Записал, барин. Я про сургуч уже дважды записал.

– Пиши и в третий раз, – сказал Глеб. – Ему легче.

– Слушаю.

Мальчишка постоял.

– Барин, а он помрёт?

– Помрёт.

Артём моргнул.

– Скоро?

– Скорее, чем нам надо, – сказал Глеб. – Ступай, он ждёт.

Ходока держали в клетке за конюшней, и Глеб спускался к нему дважды в день, по два часа, как и назначил.

В клетке было чисто. Он велел стелить солому и менять её, велел давать горячее и не бить, и Захар первую неделю ходил как оплётанный, потому что мужик, убивший Демьяна, ел кашу с маслом.

Ходок сидел на соломе, вытянув ногу с цепью, и грел ладони о кружку.

– Лекарь Глеб.

– Продолжим.

– Продолжим. – Ходок подобрался и сел удобнее. – На чём мы вчера стали? На тверском маклере?

– На тверском.

Аглая сидела в углу на чурбаке, Артём – у порога с доской на коленях. Оба писали. Писали они порознь и после сличали, и оба про это знали.

– Итак, – сказал ходок. – Маклера звать Феофан Лукин, дом у него на Рыбной, торгует лесом на бумаге и не видал живого бревна отродясь. Через него шли купчие на пять родов, из них два – ваши северные соседи.

– Кто ему платил?

– Ему не платили. Ему заказывали.

– Разница?

– Огромная, – сказал ходок с удовольствием. – Платят слуге, а заказывают ремесленнику. Слуга знает, кому служит. Ремесленник знает только, что заказ хороший и вперёд. Феофан двенадцать лет думал, что работает на Голицких.

– А работал?

– А работал на книгу.

Аглая подняла голову.

– На какую книгу?

– На ту самую, кривая, – сказал ходок ласково. – На которую вы все работаете. Я к ней ещё дойду, я не тороплюсь, у меня, как боярин верно заметил, срок ровно до последнего листа.

Глеб не двинулся.

– Дальше.

Они шли по списку два часа. Ходок называл, Артём записывал по складам и переспрашивал, Аглая писала быстрее и молча.

На исходе второго часа Глеб закрыл разговор и встал.

– Лекарь Глеб, – сказал ходок.

– Ну.

– Вы у меня третью неделю не спрашиваете про кучера.

– Не спрашиваю.

– Отчего?

– Оттого, что ты хочешь, чтоб я спросил, – сказал Глеб. – Ты это имя держишь в руке, как мужик держит последний грош: покуда он в кулаке, ты человек с грошом. Разожмёшь – и ты человек без.

Ходок засмеялся тихо и с настоящим весельем.

– Вы очень скучный собеседник, – сказал он. – Я вам это уже говорил?

– Говорил.

– Я повторюсь, тогда. – Он поставил кружку. – А хотите, я вам его отдам даром?

Аглая перестала писать.

– Не хочу, – сказал Глеб.

– Как это?

– Так. – Глеб взялся за скобу двери. – Даром ты не отдашь. Ты отдашь его в тот час, когда решишь, что тебе надо купить у меня неделю. И я эту неделю тебе продам, потому что имя мне нужно. Только покупать буду я, а не ты. Дожидайся своего часа.

Ходок помолчал.

– Вы страшно переменились с зимы, – сказал он.

– Все переменились.

– Нет, лекарь Глеб. – Ходок поглядел на него снизу, и в лице у него первый раз не было ни улыбки, ни расчёта. – Зимой вы стояли на коленях в снегу и заводили сердце человеку, которого я подстрелил. Я на это глядел из-за часовни, покуда бежал. Я тогда подумал: вот дурак, ему бы за мной, а он в грудь бьёт мёртвому.

– И что?

– И то, что нынче вы бы за мной побежали.

Глеб постоял, держась за скобу.

– Побежал бы, – сказал он и вышел.

Аглая догнала его у конюшни.

– Боярчик.

– Не начинай.

– Я и не начинаю, – сказала она. – Я тебе про дело. Наперстянки у меня нет.

– Совсем?

– Совсем. Она у меня в Нижнем городе осталась, в мешке, и мешок тот нынче, поди, у оренских. – Аглая пошла рядом, доставая ему до плеча. – Есть ландыш сушёный, прошлогодний. Слабже, но той же породы. Я тебе отмерю, только сама, руками, а не на глаз твой боярский.

– Отмерь.

– И вот что, – сказала она. – Он не жилец.

– Знаю.

– Ты ему давай ландыш и не давай надежды. Он мужик считающий, ему обидно будет.

– Он сам мне то же сказал.

– Ишь, – сказала Аглая. – Умирающие всегда умнее живых. Им врать некогда.

Они дошли до угла, и она остановилась.

– Глеб Андреич.

Он обернулся. Она звала его так за всю зиму раза три.

– Что?

– Ты нынче с ходоком хорошо говорил, – сказала она. – Верно и точно, и он тебе поверил. Я всё записала и ни словечка не переменила бы.

– Ну и хорошо.

– Я не хвалю, – сказала Аглая. – Я тебе примету кладу. Всякий раз, как я ловлю себя на том, что записывать за тобой не надо ничего править, – мне холодно делается. Ты прежде говорил криво. С запинками, с матерком, с «погоди, я не так сказал».

– И что?

– А то, что криво говорят живые.

Она пошла к дому, не дожидаясь ответа.

Глеб постоял у конюшни.

Под рёбрами было тихо, просторно и одобчительно.

Дмитрий тесал у поленницы новую притолоку для дальней избы.

Он работал ровно, не спеша, и щепка шла у него одинаковая, и Глеб постоял и поглядел, прежде чем подойти.

– Бог в помощь.

– Спаси Христос. – Плотник не поднял головы. – Барин, ты ко мне или мимо?

– К тебе.

– Ну садись.

Глеб сел на чурбак.

– Шестой день, – сказал он.

– Шестой, – согласился Дмитрий и обтесал ещё. – Я считаю.

– Как считаешь?

– Утром зарубку делаю. Вон на той плахе, с торца. – Он показал теслом. – Шесть штук. Мне до десяти. После десяти я зарубки перестану ставить, потому что дальше считать нечего.

– Может, и есть чего.

Дмитрий положил тесло.

– Барин, – сказал он. – Ты меня не жалея, я от этого работать хуже начинаю. Ты мне лучше скажи прямо: сделал ты что-нибудь за шесть дней или не сделал?

Глеб мог соврать.

– Не сделал, – сказал он.

– Ну и не ври.

– Я и не вру. Слушай, что есть. – Глеб положил руки на колени. – Артём вспомнил про списки дворов, где орден держит взятых за живое. Дворов двадцать, он помнит половину. Из тех, что помнит, до одного я дотянусь.

– До которого?

– До Гарей.

Дмитрий поглядел на него.

– Это где кабак.

– Это где кабак.

– И где ихний человек сидит, которому ты одно слово должен сказать. – Плотник взял тесло обратно. – Стало быть, там либо мой малец, либо Игнатова девка. Одно из двух.

– Может, и оба.

– Оба не бывает, – сказал Дмитрий. – Оба – это дорого. Их по разным дворам разводят, чтоб не сговорились.

Глеб помолчал.

– Ты откуда знаешь?

– А я не знаю, я так думаю. – Дмитрий обтесал длинную щепу и стряхнул её с колена. – Я, барин, за зиму много про них передумал. Ночами-то не спится, а голова работает. Я про них знаю столько, сколько мужик может выдумать, лёжа на спине.

– Таисья пошла глядеть.

Тесло остановилось.

– Одна?

– Одна.

– Ты её послал?

– Она сама пошла, – сказал Глеб. – Я её не остановил.

Дмитрий положил тесло на колоду и вытер ладони о фартук, и вытирал их дольше, чем надо было.

– Барин, – сказал он. – Я тебя об одном попрошу.

– Проси.

– Как она воротится и скажет, что там мой, – ты меня позови и скажи мне сам. Не через Захара и не через бабу. Сам.

– Позову.

– И ежели там не мой, а Игнатова девка, – ты меня всё одно позови.

– Зачем?

– Затем, что мне надо будет знать, чему радоваться, – сказал Дмитрий. – А я на радость эту после смотреть буду и себя за неё бить. Так уж лучше при тебе.

Он взял тесло и стал тесать.

Глеб посидел ещё и встал.

– Дмитрий.

– Ну.

– Я тебе десять дней назад не обещал.

– Помню, – сказал плотник. – Ты и нынче не обещай.

До Гарей Таисья шла полтора дня и пришла в сумерки, с чужим обозом, при котором вылечила чесотку у пристяжной и получила за это место у огня и две ложки каши.

Гари стояли на большаке одной длинной улицей: три десятка дворов, часовня без попа, кабак и при кабаке новый пятистенок с высоким крыльцом.

Пятистенок был кабатчикова брата.

Таисья прошла улицу насквозь, глядя под ноги, и на кабак посмотрела один раз, боком, как смотрят на то, что тебя не касается.

Потом свернула к околице и нанялась к бабе с двумя коровами вычистить хлев за ночлег.

Баба была молодая, крикливая, с рябым лицом, и звали её Пелагеей, и она за первый вечер рассказала Таисье всё про всех, потому что молчать не умела и от этого страдала.

– Ты работай, работай, – говорила Пелагея, стоя в дверях с фонарём. – Ты в угол-то лезь, там у меня прееет.

– Лезу.

– Ты откуда сама?

– С-под Никольского.

– А идёшь куда?

– К тётке в северный город.

– Так тебе тогда не через нас.

– Через вас короче, – сказала Таисья. – Мне сказали, через вас на пять вёрст короче.

– Кто сказал?

– Мужик один на дороге.

– Врал он тебе, – сказала Пелагея с удовольствием. – Через нас на девять длиннее. У нас все проезжие путаются. Ну и ладно, ночуй.

Таисья выгребала хлев и слушала.

Про кабатчика Пелагея говорила зло, потому что была ему должна. Про брата кабатчикова – с придыханием, потому что тот поставил пятистенок в один год и не бедствовал. Про то, кто у брата живёт, – между делом, в четвёртом ряду.

– Он бабу держит, – сказала Пелагея. – Работницу. С дитём.

Таисья не остановилась и не перехватила вилы иначе.

– С дитём – это тяжело, – сказала она. – Хозяйке лишний рот.

– А хозяйки нету, – сказала Пелагея. – Он вдовый. Оттого и держит.

– А, ну коли вдовый.

– Ты не думай, у них не то, – сказала Пелагея с сожалением. – У них ничего такого. Она у него в задней избе спит, с дитём, а он в горнице. Я думала, как все думали, а после переменила.

– Отчего переменила?

– Оттого, что он её не бьёт.

Таисья воткнула вилы в навоз и распрямилась.

– Это как понимать?

– А так, – сказала Пелагея, – что своих-то баб у нас бьют. А эту он и голосу на неё не подымает. И девка при ней ходит в валенках новых, при том что своим детям он на Пасху ничего не дал. Я думаю, она ему родня какая. Или должен он кому.

– Может, и должен.

– Все кому-нибудь должны, – вздохнула Пелагея. – Ты давай, кончай, я фонарь унесу.

Таисья кончила, вымыла руки в кадushке и легла на сеннике в сениях, укрывшись полубком.

Она лежала и считала.

Девка. Значит, не Дмитриев малец. Значит, Игнатова.

Или другая девка, потому что девок в свете много.

Считать так было нельзя, и она это знала, и всё-таки сердце у неё пошло чаще, потому что если это Игнатова – то Дмитриев мальчишка где-то в другом месте, и ехать за ним будет некому и некогда.

Утром она встала до света, взяла Пелагеины вёдра и пошла к колодцу.

Колодец в Гарях был один, общий, у самого кабака.

На срубе сидел человек в мещанском кафтане и чинил ремень.

Он не был ни серым, ни орденским, ни на что не похожим. Немолодой, рыжеватый, с плоским лицом, каких на большаке по десятку на версту.

Таисья зацепила бадью и стала опускать.

Человек поднял голову.

– Тяжело тебе, – сказал он. – Дай подсоблю.

– Сама.

– Сама так сама.

Он вернулся к ремню.

Таисья вытянула бадью, перелила в ведро и стала опускать снова, и, пока опускала, посчитала на нём три вещи.

Что сапоги у него хорошие и по грязи не хожены.

Что ремень он чинит второй раз за одно место, а такое чинят те, кому надо сидеть и не привлекать глаз.

И что от кабацкого крыльца до сруба двадцать шагов, а он сел так, чтоб видеть и крыльцо, и оба конца улицы, и высокое крыльцо пятистенка через дорогу.

– Далеко ль тебе воду носить? – спросил человек.

– К Пелагее, – сказала Таисья. – Хлев ей чистила за ночлег.

– А, к рябой.

– К рябой.

– Она тебя за одну ночь до нитки отработать заставит, – сказал человек. – Ты у неё не задерживайся.

– Не задержусь.

Она подняла вёдра и пошла, и от тяжести повело плечо, и она нарочно не стала перехватывать, чтоб идти как ходят бабы, которые носят воду всю жизнь.

За спиной скрипнуло высокое крыльцо.

Таисья не обернулась. Она сделала ещё десять шагов, поставила вёдра в грязь, будто дух перевести, и присела поправить онучу.

С крыльца пятистенка сошла женщина в тёмном платке.

Она была лет двадцати пяти, худая, и держала за руку девочку годов пяти в новых валенках не по погоде.

Женщина довела девочку до нижней ступени, присела перед ней и стала завязывать ей платок под подбородком.

Завязывала она долго. Дольше, чем завязывают платок.

А сама, не подымая головы, глядела мимо ребёнка – на колодец, на человека с ремнём и на дорогу.

Таисья затянула онучу, встала, взяла вёдра и пошла.

Глава 2 Гари

В кабак Таисья вошла в четвёртом часу дня, когда там было пусто, и сразу пошла не к стойке, а к погребной двери.

Кабатчик был толстый, с больной поясницей, и держался за косяк.

– Тебе чего?

– У тебя погреб течёт, – сказала Таисья.

– Чего?

– Течёт у тебя погреб. У тебя от порога вниз мокрый след и по нижней ступени зелено.

– Она показала подбородком. – Стало быть, вода стоит и бочки у тебя внизу преют. К Троице кислым запахнет, и все скажут, что ты в пиво воду льёшь.

Кабатчик отлепился от косяка.

– Ты кто такая?

– Прохожая.

– Прохожая, а в мой погреб глядишь.

– Я в него не гляжу, – сказала Таисья. – Я на порог гляжу. Порог у всех на виду.

Он поглядел на порог, потом на неё.

– Ну, положим, стоит вода. И что?

– А то, что я тебе её вычерпаю, песку принесу с берега, подсыплю и доски перестелю на подкладки. За два дня, за харч и угол. Плотником тебя не сделаю, но до осени простоит.

– Баба доски стелить будет?

– Доски стелить будет тот, кто их поднимет, – сказала Таисья. – Ты вон поясницу разогнуть не можешь. Ты и ведро не подымеешь.

Кабатчик засопел.

– Языкатая.

– Языкатая, – согласилась она. – Зато дешёвая.

Он подумал, глядя на неё сверху, и махнул рукой.

– Черпай. Спать будешь в сенях, ко мне в горницу не суйся, я тебя знаю, вашего брата.

– Не сунусь.

– И чтоб к вечеру я тебя в общей не видел.

– Не увидишь.

Она вычерпала за первый вечер тридцать вёдер и выносила их через задний ход, во двор, и всякий раз, вынося, считала.

Двор был общий у кабака и у пятистенка, и разделял их плетень в полтора роста, а в плетне были воротца, и воротца эти не запирались, потому что кабатчик и брат его ходили друг к другу двадцать раз на дню.

Собака была одна, лохматая и старая, и лежала у кабацкого крыльца, и на Таисью зарычала первый раз и больше не рычала.

Задние ворота двора выходили в проулок, проулок – на выгон, выгон – к ольшанику, а за ольшаником в трёх верстах шла старая гать на север.

Двадцать вёдер она вынесла в правые ворота, а десять – в левые, и на левых нашла то, что искала: петли были новые, а столб старый, и столб этот стоял без подпорки и в грязи шатался, если налечь плечом.

Ночью она легла в сенях и посчитала ещё раз, и вышло у неё, что двор берётся.

Двор брался легко.

От этого ей стало совсем нехорошо, потому что она сюда шла не за тем, чтоб ей стало легко.

Про заставу она услышала снизу, из погреба.

Погреб был мелкий, в полтора роста, и пол кабацкой общей лежал над головой в четыре доски, и доски эти были стёрты сапогами до щелей.

Слышно было всё, вплоть до того, как ставят кружку.

Таисья черпала и слушала.

Сперва наверху ругались из-за соли. Потом кто-то пел. Потом сели двое, и один был приезжий, а второй – тот, что чинил ремень у колодца, и она узнала его по голосу с первого слова, потому что голос у него был плоский, как лицо.

– Что, воротились? – спросил плоский.

– Воротились, – сказал приезжий. – Третьего дня. Злые как черти.

– Далеко гоняли?

– На Сухово. – Приезжий засмеялся. – Стояли на гати, шесть ден мокли, а после снялись и всей девяткой пошли низом, потому что вести пришли, что подвода свернула на Сухово. Пришли туда – а там мужики картошку сажают. Ни подводы, ни колеи.

– Ну.

– Что ну. Старшой ихний сел на пень и сидел час.

Наверху заскрипела лавка.

– Стало быть, водили, – сказал плоский.

– Стало быть, водили.

– А кто водил?

– А это уже не моего ума, – сказал приезжий. – Это они сами будут разбираться. У них, слышь, порядок такой: коли весть пришла с двух концов и обе сошлись, а вышло враньё, – значит, оба конца ломать.

– Оба.

– Оба, – сказал приезжий с удовольствием. – Мне на посту сказывали: за такое не спрашивают, кто виноватее. Оба и всё, что при них.

Наверху помолчали.

– Долго они будут разбираться? – спросил плоский.

– Дён пять уже разбираются.

– Стало быть, скоро.

Таисья стояла в погребе по щиколотку в воде, с ведром в опущенной руке, и глядела в четыре доски над головой.

Пять дней.

Считать плотник начал шестого дня. Стало быть, нынче у него на плахе восемь зарубок, а завтра будет девять.

Она подняла ведро и понесла его наверх, и на верхней ступени переставила ноги так, чтоб не шаркнуть.

Девочку она увидела на другой день, у поленницы.

Та сидела на корточках, боком, привалившись головой к дровам, и держалась ладонью за ухо, и не плакала.

Таисья прошла мимо с ведром, вернулась и села рядом на чурбак.

– Тепло к нему держишь?

Девочка поглядела снизу.

– Чего?

– К уху тепло держишь, спрашиваю. Мамка велела?

– Она мне тряпку грела, – сказала девочка. – Тряпка стыла.

– Тряпка всегда стынет. Тряпкой глупо.

– А чем?

– Солью, – сказала Таисья. – Соль на сковороде калят, сыпают в мешочек и держат. Она час не стынет.

Девочка подумала.

– У нас соли мало.

– На ухо надо с горсть. Горсть-то есть?

– Не знаю. Мамка не даст.

– Отчего не даст?

– Она ничего не даёт братъ, – сказала девочка. – Она говорит, мы не свои.

Из-за угла вышла женщина в тёмном платке и остановилась.

Она не вскрикнула и не побежала. Она стояла и глядела, и по тому, как она поставила ноги, Таисья поняла, что бегать эта баба уже отучилась, а вот стоять между чужим и своим ребёнком выучилась крепко.

– Настя, – сказала женщина. – Иди в избу.

Девочка встала и пошла, держась за ухо.

Женщина осталась.

– Ты кто?

– Прохожая. У кабатчика погреб чиню.

– Ты с ней не говори.

– Я ей про соль сказала, – сказала Таисья. – У неё в ухе гноится. Ты слыхала, как она головой к дровам жмётся? Ей холодное к уху тянет, оттого что горит.

– Я знаю, что у неё в ухе.

– Знаешь, а тряпку греешь.

Женщина шагнула ближе.

– У меня, – сказала она тихо и часто, – мокрого места на дворе нету, куда бы я могла сесть с ней и никто не глядел. Ты мне будешь говорить про соль?

Таисья помолчала.

– Не буду, – сказала она. – Дай гляну ухо.

– Не дам.

– Тогда я тебе так скажу, а ты делай как знаешь. – Таисья поставила ведро. – Коли из уха потечёт – это хорошо, значит прорвало и жар спадёт. Коли не потечёт, а она перестанет на голос оборачиваться с той стороны и станет спать не на том боку – это худо, это внутрь пошло, и тогда ей надо лекаря, а не соль.

Женщина глядела на неё.

– Ты откуда это знаешь?

– Я при лекаре два года жила.

– Где?

– На севере, – сказала Таисья.

Женщина не изменилась в лице. Она просто перестала дышать на один вдох, и Таисья это увидела, потому что смотрела не на лицо, а на горло.

– Ступай отсюда, – сказала женщина.

– Уйду.

– Нынче ступай. Не завтра.

– Погреб не дочерпан, – сказала Таисья. – Уйду завтра, как все уходят. Уйду нынче – кабатчик станет спрашивать, отчего, и на всю улицу разнесёт, что прохожая сбежала. Тебе это надо?

Женщина стояла.

– Не надо, – сказала она.

– Ну вот и я так думаю.

Таисья подняла ведро и понесла его к воротам, и на середине двора женщина сказала ей в спину, негромко:

– Соли я возьму у Пелагеи. Она мне даст, я ей за то шерсть чешу.

– Возьми две горсти, – сказала Таисья, не оборачиваясь. – На два раза.

За ней пришли перед вечером.

Таисья выносила предпоследнее ведро, и женщина в тёмном платке стояла у воротец в плетне и держала их открытыми.

– Иди сюда.

– Мне ведро донести.

– Донеси и иди. – Она отступила, давая пройти. – Меня Устиньей звать. Тебе это знать незачем, а я скажу, потому что просить буду.

Заднюю избу топили по-чёрному, и потолок в ней был закопчённый, а окошко одно и затянуто пузырям. Девочка лежала на лавке, свернувшись, лицом к стене.

– Настя, – сказала Устинья. – Повернись.

Девочка не повернулась.

– Не трожь её, – сказала Таисья. – Пусть лежит как лежит. Свет дай.

Устинья зажгла лучину и встала с ней у изголовья.

Таисья села на край лавки, вытерла ладони о подол и подышала на них, потому что руки с улицы были мокрые и холодные, а барин всегда дышал на руки, прежде чем взять человека.

– Настя, – сказала она. – Я тебе ухо не трону. Я его только сверху погляжу.

Девочка молчала.

– Хочешь, я тебе руку дам подержать? Держи и жми. Как больно станет – жми сильнее, я пойму.

Маленькая горячая ладонь легла ей в руку и стиснула сразу, впрок.

Таисья отвела волосы от уха.

Раковина была красная и горячая. За ухом, на кости, вздулось мягкое, и когда Таисья тронула это мягкое мизинцем, девочка вскинулась и стиснула ей руку так, что хрустнули пальцы.

– Тихо, тихо. Всё, не трогаю.

Она подняла лучину ближе и заглянула внутрь.

В глубине, в ушном ходе, стояло белое.

– Устинья.

– Ну.

– Она на этом ухе спит?

– Не спит. Она на нём и лежать не может.

– А на голос с этой стороны оборачивается?

Устинья постояла.

– Нынче не оборачивалась, – сказала она. – Я думала, дуется.

Таисья положила ладонь девочке на лоб и подержала. Лоб был сухой и горячий, и жар шёл ровный, не гуляющий.

– Слушай меня и не голоси, – сказала она. – Соль ей больше не грей. Жар держится третий день, за ухом вздулось на кости, и белое видно. Оно копится и не выходит.

– Что делать?

– Тут надо резать, – сказала Таисья. – Не ухо. Прокалывать перепонку, чтоб гной вышел наружу. Это делают тонким, калёным, за один раз, и после два дня она спит. Барин наш это делал при мне трижды, и я держала.

– Ты сможешь?

– Нет.

Устинья опустила лучину.

– Я держала, – сказала Таисья. – Я не делала. Я ей ткну и оглушу её на всю жизнь, а то и хуже.

– А что хуже?

– Хуже – это когда оно не наружу пойдёт, а внутрь, под кость. Тогда через неделю у неё голова заболит по-настоящему, и её вырвет, и она заснёт и не проснётся.

Устинья села на пол у лавки.

– Через неделю, – повторила она.

– Может, и не через неделю. Может, прорвёт само, и потечёт, и всё обойдётся. Так бывает чаще, чем худо. – Таисья гладила маленькую руку большим пальцем. – Ты меня слушай дальше. Что можно нынче: тепло сухое к уху, но не жечь. Лук печёный, тёплый, к затылку и за ухо – он смягчит и тянет. Пить ей давай побольше, хоть насильно. И не клади её на здоровое ухо, клади на больное, чтоб текло вниз, коли потечёт.

– На больное?

– На больное. Ей будет противно, а ты клади.

– А ежели не потечёт?

– Тогда ей нужен человек с руками, – сказала Таисья. – И нужен он ей не через месяц.

Девочка разжала ладонь и заснула, и во сне у неё дёргалась щека.

Таисья встала.

Устинья сидела на полу и глядела снизу вверх, и лучина у неё в руке дрожала.

– Ты не травница, – сказала она.

– Не травница.

– Травница мне бы сказала про мышинный корень и про наговор. – Устинья говорила ровно, и оттого страшно. – Ты сказала «перепонка». Ты сказала «под кость». Ты держала.

Таисья пошла к двери.

– погоди, – сказала Устинья.

– Мне погреб дочерпать.

– погоди, я спрашиваю.

– Не спрашивай нынче, – сказала Таисья, взявшись за скобу. – Нынче нам обоим лучше, чтоб ты не спросила.

Она вышла.

Устинья пришла ночью.

Таисья спала в кабацких сенях на рогоже, у самой двери, и проснулась оттого, что дверь пошла тише, чем ходила у пьяных.

Она села и не стала шарить нож.

– Я одна, – сказала Устинья из темноты.

– Вижу.

– Как ты видишь, тут темно.

– Слышу, – сказала Таисья. – Одна дышит одним.

Устинья села на корточки у порога.

– Он тебя послал?

– Кто?

– Не ври мне, – сказала Устинья. – Я тут второй год живу и вру каждый день, я вранье слышу, как ты дыхание. Он тебя послал?

Таисья подумала две секунды.

– Меня никто не посылал, – сказала она. – Я сама пошла.

– Ты от него?

– От него.

Устинья закрыла лицо руками и посидела так, и не заплакала, и отняла руки.

– Он жив?

– Жив.

– Здоров?

– Здоров, – сказала Таисья. – Воду носит.

Устинья засмеялась беззвучно, страшно, одними плечами.

– Воду носит, – повторила она. – Ну конечно. Он и дома воду носил. Он ничего другого не умеет, у него руки к коромыслу приросли.

– Он умеет ещё, – сказала Таисья. – Он умеет молчать так, что его два года никто не поймал.

– Его поймали.

– Его поймал наш барин. Это разное.

Устинья утёрла лицо ладонью.

– Ты мне скажи одно, – сказала она. – Он им носит или он им перестал носить?

Таисья не ответила сразу.

– Перестал, – сказала она.

– Господи.

– Он сам выбрал. Его не неволили, его спросили.

– Спросили, – сказала женщина. – Спросили. – Она качнулась вперёд и назад. – У него дочь тут. Его спросили, а дочь тут. Что ж он ответил, дурак?

– Он ответил, что понесёт.

– Так он понёс?

– Он понёс ложь, – сказала Таисья. – И через четыре дня, а может, через три, у вас тут переменится всё.

Устинья перестала качаться.

– Стало быть, идут за нами.

– Идут.

– За мной или за ней?

– Не знаю.

– Знаешь, – сказала женщина. – За ней. Я им не нужна, я при ней сторож. Меня они и кормить бы не стали.

В сенях было тихо. За стеной кто-то ворочался на лавке и стонал во сне.

– Слушай меня, – сказала Таисья. – Двор ваш берётся. Я его два дня считала. Плетень глухой, воротца не запираются, собака старая и меня уже не облаивает, задние ворота на проулок, а столб у них шатается, я его плечом свалю. От проулка до ольшаника триста шагов, от ольшаника до старой гати три версты. Ночью, в темень, вас с ней можно свести за полчаса, и до свету никто не хватится.

Устинья слушала, не перебивая.

– А потом? – сказала она.

– Потом на гать и на север. Там наши.

– А потом?

– Что потом?

– А потом, – сказала Устинья, – через день на этой улице встанут серые и станут спрашивать, кто чинил погреб у кабатчика. И им опишут тебя, и всякий скажет, что прохожая была с севера, потому что я это слышала своими ушами, и Пелагея слышала, и девка твоя языкатая. И тогда они поймут не то, что я сбежала. Они поймут, что за мной приходили от Игната.

Таисья молчала.

– И тогда, – сказала Устинья, – они возьмётся за него по-настоящему. Не за то, что он соврал. За то, что мы у него из рук ушли. – Она наклонилась ближе. – Ты соображаешь, что я тебе говорю? Покуда я тут сижу смиренно, я его держу живым. Не он меня. Я его.

– Он и без того не жалец, – сказала Таисья.

– Ты этого не знаешь.

– Я это видала. Я видала, как барин с ним говорил.

– Твой барин, – сказала Устинья, – всё, что мог, уже сделал: он моего мужика спросил вместо того, чтоб велеть. Мне от этого не легче ни на волос, а ему, я думаю, стало.

Таисья сжала кулак и разжала.

– Есть ещё одно, – сказала Устинья. – Про что ты не знаешь и я тебе скажу, потому что ты за этим шла.

– Говори.

– Тут не мы одни.

– Где не одни?

– В Гарях одни, – сказала Устинья. – А по уезду не одни. Прошлой осенью тут стоял мальчишка, годов восьми. Три недели стоял, при мне. Тихий такой, всё под лавкой сидел. После за ним приехали и увезли.

Таисья подалась вперёд.

– Куда?

– На Устье, – сказала Устинья. – На мельницу. Я слыхала, как хозяин с приезжим говорил на дворе: мол, отвези на Устье, там пусть кормится, там мельник ордену обязанный.

– Точно на мельницу?

– Точно на Устье, а мельница там одна, – сказала Устинья. – Я, девка, за два года выучилась слушать через стену лучше, чем в церкви.

Таисья сидела в темноте и считала.

Устье было в двух днях от Гарей в другую сторону, вверх по реке, и от северного двора туда выходило дней пять и ни одной дороги, которую бы держали свои.

– Ты его помнишь? – спросила она. – Мальчишку.

– Помню.

– Какой?

– Русский. Худой. Молчит. – Устинья помолчала. – У него на левой руке пальца не хватает, мизинца. Он говорил, отцу помогал тесать и не убрал.

Таисья медленно выдохнула.

– Это Дмитриев, – сказала она.

– Не знаю, чей. Мне не сказали.

– Это Дмитриев, – повторила Таисья. – Плотников сын.

Устинья встала.

– Тогда у твоего барина двое, – сказала она. – И оба врозь, за полсотни вёрст. Так их и разводят.

Она пошла к двери и у двери остановилась.

– Ты ему передай, водоносу моему, две вещи. Что мы живы. И что я на него не серчаю.

– Передам.

– Не передашь, – сказала Устинья. – Ты не дойдёшь до него с этим, у тебя другого много. Но ты соври, что передала.

Дверь пошла тихо, тише, чем у пьяных, и закрылась.

Наутро Таисья дочерпала погреб, натаскала песку с берега, перестелила три доски на подкладки и получила от кабатчика полтину и щи.

Уходить она собралась к полудню и нарочно собиралась на виду.

– Далёко? – спросил кабатчик.

– В северный город, к тётке.

– Дура, – сказал кабатчик. – Нынче на север не ходят.

– Отчего?

– Оттого, что там боярин с камнем сидит, и вокруг него, слышь, серые ходят кругами, как воронье. – Он поскрёб брюхо. – Мне третьего дня проезжий сказывал: две недели ещё, и там будет так, что мимо не пройдёшь.

– Мне не мимо, мне через.

– Ну и дура.

Она поклонилась и вышла.

На улице было пусто, шёл мелкий дождь, и от кабацкого крыльца до колодца было двадцать шагов.

На сруб сидел человек в мещанском кафтане.

Ремня при нём нынче не было. Он сидел просто так, положив руки на колени, и глядел на неё.

Таисья прошла мимо и поклонилась, как кланяются прохожие.

– Погоди-ка, – сказал человек.

Она остановилась.

– Уходишь?

– Ухожу.

– Погреб дочерпала?

– Дочерпала.

– Быстро, – сказал человек. – Я думал, ты дня четыре провозишься.

– Мне за четыре не платят.

Он покивал.

– А скажи, – проговорил он, – ты которой дорогой пойдёшь? Большаком или задворками?

– Большаком.

– Задворками короче.

– Мне не короче, – сказала Таисья. – Мне на большаке подвода попутная попадётся. Я с ноги сбилась, у меня онучи мокрые.

– Это верно, – сказал человек. – Онучи мокрые – самое последнее дело.

Он поглядел на её ноги, и Таисья стояла и позволяла глядеть.

– Ты вот что, – сказал он. – Ты, как пойдёшь, у крайней избы не срезай через огород. Там пёс злой.

– Спасибо, дядя.

– Не за что.

Она пошла.

Она шла по большаку, не оглядываясь, и считала шаги, и на трёхстах шагах поле кончилось и начался бугор, и с бугра дорога опускалась и Гари пропадали из виду.

На двухстах девяноста она услышала, как за спиной хлопнула кабацкая дверь.

Таисья не обернулась и там.

Она дошла до бугра, спустилась, прошла ещё сотню шагов вниз, где дорога шла в ольхах и её не было видно ни сверху, ни снизу, свернула вправо и легла в мокрый бурьян за корягой.

Полежала, считая своё дыхание, как считал при ней барин чужое.

Через четверть часа по дороге прошёл человек в мещанском кафтане.

Он шёл небыстро, руки держал в рукавах и глядел под ноги. Дойдя до поворота, он постоял, поглядел вперёд, на пустую мокрую дорогу, которая просматривалась на версту, и пошёл обратно.

Таисья пролежала в бурьяне ещё час.

Потом встала, обошла бугор низом, вышла на большак много ниже поворота и пошла на север, и шла до темноты, и до темноты ни разу не села.

Ей надо было донести до дому три вещи, и ни одну из них она бы теперь не отдала за место в чужом обозе.

Что дитё есть и оно Игнатово.

Что взять его нельзя.

И что второе дитё сидит на Устье, на мельнице, в пяти днях в другую сторону, и у него на левой руке нет мизинца.

Глава 3 Размен

Таисья пришла на четвёртый день, в сумерки, и пришла не с большака, а от гати, где вода шла уже по колено.

Её увидели с гребня и крикнули, и, покуда отворяли ворота, она успела перейти последние тридцать шагов и встать посреди двора.

Глеб вышел на крыльцо.

– Живая, – сказал он.

– Живая.

– Ела когда?

– Утром.

– Захар, скажи Марфе. – Глеб сошёл со ступеней. – Идём в горницу.

– Я тут скажу.

– В горнице теплее.

– Мне не надо теплее, – сказала Таисья. – Мне надо, чтоб при людях. Я четыре дня несла, я расплескаю, покуда ты меня рассаживать будешь.

Во дворе стояли и слушали. Захар, Марфа с полотенцем, двое стужинских, кузнец.

Глеб постоял и кивнул.

– Говори тут.

Таисья набрала воздуха.

– Дитё есть, – сказала она. – Дитё девка, годов пяти, звать Настей, при ней мать. Мать зовут Устинья. Она Игнатова.

Во дворе стало тихо.

Игнат стоял у поленницы с охапкой дров, и охапка эта поехала у него из рук, и он её не подхватил.

– Живы обе, – сказала Таисья громко и прямо ему. – Слышишь, водонос? Обе живы, я их руками трогала. Девка больная, а живая.

Игнат сел на корточки и стал собирать дрова, и собирал их долго.

– Дальше, – сказал Глеб.

– Дальше двор, – сказала Таисья. – Двор кабатчикова брата, пятистенки, общий с кабаком. Я в нём два дня чистила погреб и считала. Плетень в полтора роста, воротца в плетне не запираются. Собака одна и старая. Задние ворота в проулок, у них левый столб без подпорки, шатается, я его плечом свалю. От проулка до ольшаника триста шагов, от ольшаника до старой гати три версты.

– Люди?

– Хозяин, работник и мальчишка при лошадях. Кабатчик за плетнём, толстый, с поясницей, он и с лавки не встанет. Ночью на дворе никого.

– Псы у соседей?

– Двое, оба на цепях, оба на дальнем конце улицы.

Глеб слушал, не двигаясь.

– Сколько надо людей?

– Четверых, – сказала Таисья. – Из них двое на воротах и один при лошадях. Взять и увести – полчаса. До свету не хватятся.

– Хорошо считаешь.

– Я не кончила, – сказала Таисья. – Теперь второе, и второе хуже.

Она вытерла ладонь о полушубок.

– При них человек венца. Тот самый, при кабаке, кому ты одно слово должен сказать. Он сидит у колодца двадцать шагов от обоих крылец и глядит на оба конца улицы. Он меня заприметил на второй день, а на третий пошёл за мной по большаку.

– Догнал?

– Я легла в бурьян за корягой, он прошёл мимо и воротился.

– Он тебя запомнил.

– Он меня запомнил, – сказала Таисья. – Он не серый и не орденский, он рябой мещанин с плоским лицом, и он сидел на срубе так, как садятся те, кому платят за сидение.

Глеб потёр большим пальцем ладонь.

– И третье, – сказала Таисья.

– Говори.

– Плотников сын на Устье. На мельнице.

Дмитрий стоял у поленницы – он подошёл, когда она начала, и никто не заметил когда.

– Ты его видала? – сказал он.

– Не видала. Устинья видала. Он у них в Гарях стоял три недели по осени и после его увезли. – Таисья повернулась к нему. – Русский, худой, молчит, и на левой руке нет мизинца. Она сказала: отцу помогал тесать и не убрал.

Дмитрий не сказал ничего.

Он стоял и держался за поленницу, и щепа под его пальцем крошилась.

– Устье, – сказал Глеб.

– Устье, – сказала Таисья. – Пять дней туда, коли рекой не идти. И это в другую сторону от Гарей.

– Сколько от Гарей до Устья?

– Дней шесть-семь. Их нарочно так развели.

Глеб постоял, глядя мимо неё, на ворота.

– Ясно, – сказал он. – Ступай, тебя Марфа накормит. И сапоги сними, я гляну ноги.

– Ноги как ноги.

– Ты четыре дня шла мокрая. Сними.

Он сел на нижнюю ступень, и она села на верхнюю и стянула сапог, и Глеб взял её ступню в ладони.

Ступня была белая, разбухшая, и кожа на пятке и под пальцами сходила лоскутами, а под лоскутами было красное.

Он нажал на подушечку большого пальца.

Таисья дёрнулась.

– Больно?

– Терпимо.

– Тут терпимо?

– Ай.

– Тут у тебя набухло. – Глеб взял вторую. – Обе. Ты шла на мокрых онучах трое суток и стёрла кожу до живого, и в тепле у тебя это разойдётся за ночь и загноится к утру.

– Так и что?

– Так и то, что нынче вечером ты будешь сидеть, свеся ноги в тёплую воду с солью, полчаса, – сказал Глеб. – Потом досуха, и я тебе смажу и обмотаю, и ты двое суток походишь в лаптях на сухую портянку. Марфа, воду.

– Барин, у меня ноги казённые, – сказала Таисья. – Ты бы про дело.

– Дело от твоих ног никуда не денется, – сказал Глеб. – А ты денешься.

Он держал её ступню в ладонях, и ладони у него были тёплые.

Таисья сидела на ступеньке выше него и глядела ему в макушку, в седое, и молчала, потому что говорить ей вдруг стало нечего.

Совет собрался после ужина.

Сели в горнице: Стужин, Аглая, Захар, Таисья, Артём с доской, и Глеб во главе стола.

Дмитрия и Игната он звать не стал.

– Считаю вслух, – сказал он. – Чтоб после никто не говорил, что я решил в углу.

Он положил перед собой две щепки.

– Гари, – сказал он и подвинул одну. – Четверо своих, шесть дней туда и обратно, вернее семь по нынешней воде. Берём ночью, уводим гатью. Таисья, у меня к тебе один вопрос, и ответь как есть: они пойдут?

Таисья подняла голову.

– Кто?

– Баба с дитём. Они пойдут с нами?

Таисья молчала дольше, чем надо было.

– Нет, – сказала она.

– Громче.

– Нет. Она не пойдёт.

– Отчего?

– Оттого, что она считает, будто держит Игната живым, покуда сидит смирно, – сказала Таисья. – И, барин, она это не со страху говорит. Она это посчитала.

– Она посчитала верно, – сказал Глеб.

– Знаю, что верно! – Таисья ударила ладонью по столу. – Я тебе несла её счёт, а не свой, потому что она умнее меня оказалась. И всё равно я тебе скажу: у неё дитё с гноем в ухе, и через неделю ей будет нужен человек с руками, а не с расчётом.

– Что с ухом?

– Жар четвёртый день, за ухом на кости вздулось, белое видать, на голос с той стороны не оборачивается.

Глеб положил ладони на стол.

– Это гнойник в среднем ухе, и он пошёл в кость, – сказал он. – Оттуда две дороги. Либо прорвёт наружу через перепонку, и всё кончится, либо через кость внутрь, к оболочкам. Второе – это неделя, много две, и после этого не спасает никто.

Аглая перекрестилась левой рукой.

– Ты бы её вылечил? – спросила Таисья.

– Проколел бы перепонку, выпустил и промывал бы, – сказал Глеб. – Это работа на четверть часа и после десять дней возни.

– Стало быть, ей нужен ты.

– Ей нужен любой, у кого есть тонкое, огонь и рука, – сказал Глеб. – Я такой один на сто вёрст, тут ты права.

Он подвинул вторую щепку.

– Устье, – сказал он. – Плотников сын. Пять дней туда рекой не пройдёшь, значит шесть кругом, и это в другую сторону. От Гарей до Устья ещё неделя. Двумя ногами не разорваться: либо туда, либо туда, а всей дороги выходит недели три и людей семеро с лошадьми.

– Барин, – сказал Захар. – А ежели порознь? Четверо в Гари, трое на Устье.

– Тогда двор остаётся на восьмерых мужиков и старого Стужина, – сказал Глеб. – Стужин, скажи ему.

Стужин почесал загривок.

– Скажу. Гать подсохнет через полторы недели, а как подсохнет – большак станет твёрдый. Я бы на их месте пришёл на двенадцатый день. – Он поглядел на Захара. – Ты, Захарка, посчитай сам: я тебе двор без семерых удержу ровно столько, сколько они будут ломать ворота. Раз ткнут – и внутри.

В горнице стало тихо.

– Теперь третье, – сказал Глеб. – Человек венца в Гарях.

– При чём тут он? – сказал Захар. – Мы его хоть свяжем, хоть в погреб.

– При том, что он не сторож, – сказал Глеб. – Он кнопка. Он сидит там не бабу стеречь, а ждать от меня слова. И покуда он там сидит и ждёт, венец думает, что я ещё торгуюсь. – Глеб положил палец на стол. – А в ту ночь, как мы у него из-под носа сведём двор, он поймёт, что я не торгуюсь. И это не он поймёт, это они поймут.

– И что? – сказала Таисья.

– И то, что нынче они меня уговаривают, а с той ночи станут ломать, – сказал Глеб. – Гладкий на крыльце сказал прямо: мы не устаём. Покуда я вежливо отказываю – они ждут. Как только я ударю рукой – они перестанут ждать.

Аглая подняла глаз.

– А ты уже ударил, боярчик, – сказала она. – Двадцать списков.

– Списки – бумага. Бумагу они переживут, они бумагой сами живут. – Глеб не повысил голоса. – А двор в Гарях – это рука.

Он помолчал.

– Теперь складываю, – сказал он. – Кладу в одну сторону: двое детей, из них одно в шести днях, другое в двенадцати, и оба у нас не спросят, хотим мы их брать или нет. Кладу в другую: семь человек на три недели дороги, двор без людей за неделю до того, как встанет большак, баба, которая с нами не пойдёт, и ночь, после которой венец перестанет ждать.

Он поглядел вдоль стола.

– Дурной размен, – сказал он.

Стужин кивнул.

– Дурной, – сказал он. – Я тебе то же самое скажу, боярич, и мне за это стыдно не будет, потому что я это уже сорок лет говорю.

– Аглая?

Аглая сидела, сложив руки.

– А чего ты меня спрашиваешь, – сказала она. – Ты уже сложил.

– Я спрашиваю.

– Ну спрашивай. – Она поглядела на него единственным глазом. – Счёт твой сходится. Я в нём дыры не нашла, а искала, покуда ты говорил, и я, боярчик, искать умею.

– Значит, всё.

– Не всё, – сказала Аглая. – Я тебе одно место укажу, и ты его сам гляди. Ты ноне посчитал сперва Гари, потом Устье, потом гладкого, потом сложил. А в декабре ты бы считал наоборот.

– Как наоборот?

– Ты бы начал с дитяти и стал искать, как его вынуть, – сказала Аглая. – И считал бы трое суток, и не спал, и всех бы тут извёл, и, может, ничего бы не выискал. И вышло бы то же самое. Только шло бы оно с другого конца.

– Итог тот же.

– Итог тот же, – согласилась она. – А ты не тот.

Глеб выдержал её взгляд.

– Я слышу, – сказал он. – Я и вчера слышал, и позавчера. Ты мне про это говоришь пятый день. Скажи мне заодно, что я нынче должен сделать, кроме как перестать быть собой обратно.

Аглая не ответила.

– Тогда решаю, – сказал Глеб. – В Гари не идём. На Устье не идём. Двор держим и ждём двенадцатого дня.

Он встал.

– Захар, с завтрашнего утра людей на воротах вдвое. Стужин, где скажешь копать, там и копаем. Таисья, ты трое суток сидишь и лежишь ноги. Артём, к Печатнику.

– Барин, – сказал Захар. – А Игнату кто скажет?

– Я, – сказал Глеб.

Дмитрия он позвал первым, как обещал.

Позвал не на задворки, а в горницу, и посадил за стол, и налил ему сам.

– Твой на Устье, – сказал Глеб. – Мельница. Русский, худой, молчит, на левой руке нет мизинца.

Дмитрий поставил кружку.

– Мизинца нет, – сказал он. – Это правда мой.

– Значит, твой.

– Он мне тогда орал, – сказал плотник. – Я ему тесло дал по глупости, а он мал был. Я ему после палец в тряпку и в город бегом, а по дороге всё думал, как бабе скажу.

Он подержал кружку и не выпил.

– Ты не пойдёшь, – сказал он.

– Не пойду.

– Ни в Гари, ни на Устье.

– Ни туда, ни туда.

Дмитрий кивнул.

– Ты мне счёт скажешь?

– Скажу, – сказал Глеб и сказал.

Он говорил ровно и всё назвал: три недели дороги, семерых, двенадцатый день, воду на гати, бабу, которая не пойдёт, и кнопку в Гарях.

Дмитрий слушал, глядя в стол.

– Всё верно, – сказал он, когда Глеб кончил.

– Верно.

– Я и сам так посчитал, – сказал плотник. – Я две ночи считал и вышло то же. Я только надеялся, что у тебя выйдет иначе, потому что ты боярин и у тебя людей больше.

– У меня людей меньше, чем у тебя надежды.

Дмитрий поднял наконец кружку и выпил до дна.

– Спасибо, что сам, – сказал он.

– Я обещал.

– Ты много чего не обещал, а это обещал и сделал. – Он поставил кружку донцем в лужицу и повернул её. – Барин, я тебя об одном спрошу и после уйду.

– Спрашивай.

– Ты, когда считал, – сказал Дмитрий, – ты моего Ваньку в какое место счёта поставил?

Глеб помолчал.

– В левое, – сказал он. – Вместе с девкой.

– Просто «дитё»?

– Двое детей.

– Ага, – сказал плотник. – Двое детей.

Он встал.

– Ты не серчай, барин. Я к тебе без злобы. Я на тебя работал и дальше буду, куда меня не возьмут, и притолоку я тебе к завтраму кончу. – Он пошёл к двери. – Только ты вот что запомни, коли доживёшь до своих. Дитё в счёте – это не дитё. Это щепка на столе.

Он вышел.

Под рёбрами шевельнулось.

«Он неправ. Щепка на столе – это и есть дитё, взятое честно. Прочие считают тайком и врут себе, что не считали».

– Знаю, – сказал Глеб.

Он сидел один в горнице, глядел на две щепки на столе и ждал, когда его от этого разговора догонит.

Не догнало.

Игнату он сказал у колодца, где тот стоял с пустыми вёдрами и не набирал.

– Твоя баба тебя не винит, – сказал Глеб. – Она велела передать, что жива и что не сердает.

– Спасибо, барин.

– Дочь больна. Ухо. Опасно, но не насмерть покуда.

– Спасибо, барин.

– В Гари я не пойду.

Игнат кивнул, как кивают на слова про погоду.

– Я знаю, – сказал он.

– Откуда?

– А я, барин, весь вечер у горницы дрова складывал, – сказал Игнат. – Слышно.

Он взялся за верёвку и стал опускать бадью.

– Ты меня не жалея, – сказал он. – Я, как тебе понёс ту весть, я уже всё за них и за себя отжалел. Мне теперь легче, чем тебе, ей-богу.

– Отчего мне тяжело?

Игнат вытянул бадью и посмотрел на него через колодезный сруб.

– А тебе не тяжело, – сказал он. – Я неверно сказал. Я хотел сказать: мне легче, чем тебе будет.

Ночью, во втором часу, в дальней избе не спали шестеро.

Сидели в темноте, у остывающей печи: Таисья с обмотанными ступнями, Игнат, Дмитрий, Кузьма, и двое стужинских – Прохоров сосед по слободе и молодой Стужин, тот, что зимой сунулся рано.

Говорила Таисья.

– Четверо, – сказала она. – Больше не надо, больше – шуму. Я на воротцах, Игнат при лошадях, Кузьма и Ефимка на дворе.

– Я иду, – сказал Дмитрий.

– Ты не идёшь.

– Мой сын...

– Твой сын на Устье, а мы идём в Гари, – сказала Таисья. – Ты нам там на что? Ты плотник, ты по грязи ходишь как медведь и языка не удержишь. Ты останешься и станешь тесать притолоку, чтоб на дворе видели, что всё по-старому.

Дмитрий засопел в темноте.

– А после Гарей на Устье, – сказал он.

– После Гарей поглядим.

– Ты мне не «поглядим»...

– Дмитрий. – Таисья наклонилась. – Я тебе нынче не «поглядим» говорю. Я тебе говорю: сперва одно, после другое. Мы вчетвером и на одно-то едва. Начнёшь тянуть в две стороны – останешься без обоих.

Молодой Стужин пошевелился.

– А дед?

– Что дед?

– Дед мне ноги переломает.

– Дед тебе переломает, а барин повесит, – сказала Таисья. – Ты сядь и подумай теперь по-настоящему, а не как в феврале, когда ты полез поперёд времени и чуть всё не сронил. Кто нынче встанет – тот идёт до конца. Кто не встанет – тот молчит до конца. Третьего нету.

Все посидели.

– Я иду, – сказал Кузьма.

– Ты однорукий.

– Я однорукий, а вожжи держу и в седле сижу. – Кузьма подобрал под себя ноги. – Я, Таисья Демьяновна, вас шестерых через шесть застав вёз. Мне нынче сидеть при бабах?

– Я тебе не Демьяновна.

– А я не знаю, чья ты, и спрашивать не стану.

Игнат сидел у стены, обхватив колени.

– Я вот чего не пойму, – сказал он тихо. – Барин ведь верно посчитал. Я слушал. Всё верно.

– Верно, – сказала Таисья.

– Так мы против верного идём?

– Мы против верного идём, – сказала Таисья.

– А ежели он прав, и после нас всех тут положат?

– Тогда нас положат.

Игнат помолчал.

– А ежели он прав, и Устинья не пойдёт?

– Тогда я её понесу, – сказала Таисья. – Я её нести не смогу, она меня выше. Тогда я встану перед ней и скажу: твоё дитё помрёт через неделю от уха, и барин это сказал, а барин в этом деле не врёт. И пусть она после сама считает.

Кузьма кашлянул.

– Ты про ухо не выдумала?

– Барин сказал слово в слово, при всех, за столом, – сказала Таисья. – Проколоть, выпустить и промывать. Четверть часа работы.

– Так его самого туда и надо.

– Его туда не свезёшь, – сказала Таисья. – Он к своему погребу прибит.

– А кто ей проколет?

Таисья долго молчала.

– Я, – сказала она.

– Ты держала.

– Я держала. И я глядела. Три раза глядела, и в последний раз он мне велел светить в самое ухо и говорил вслух, что делает, потому что я спросила. – Она разжала и сжала кулак. – Барин говорит: рука, огонь и тонкое. Рука у меня есть. Огонь будет. Тонкое я у Аглаи возьму.

– Аглая тебе не даст.

– Аглая мне уже дала, – сказала Таисья.

В темноте кто-то присвистнул.

– Она знает?

– Она мне дала иглу, ложку и корпии, ни о чём не спросив, – сказала Таисья. – А после сказала: «Ноги-то у тебя обмотаны, ты далеко не уйдёшь». И ушла.

Стужин стоял у конюшни, когда они выводили лошадей.

Он стоял в темноте, в тулупе внакидку, и держал в руке фонарь, не зажигая.

Таисья остановилась.

Молодой замер за её спиной.

– Дед...

– Молчи, – сказал Стужин.

Он подошёл, поглядел на них четверых, на лошадей, на мешки.

– Верёвку взяли?

Все молчали.

– Верёвку, – повторил Стужин. – Аркан, десять сажень. Столб плечом – это она тебе, рыжая, ночью хорошо придумалось, а по мокрому ты в него упрёшься и уедешь ногами. Верёвкой с седла, вдвоём, и он ляжет, и тихо ляжет.

Он бросил под ноги свёрнутый аркан.

– Кто из вас поедет впереди?

– Я, – сказал Кузьма.

– Ты поедешь третьим, у тебя одна рука и повод. Впереди пойдёт Ефимка, он тутошний. – Стужин повернулся к молодому. – А ты, дурак, пойдёшь замыкающим и всю дорогу будешь глядеть назад, и это всё, что ты будешь делать. Понял?

– Понял.

– Не понял. – Стужин взял его за отворот и притянул. – Назад глядеть – это не когда страшно. Это всякую четверть часа, считая. Собьёшься – домой не приедешь.

Он отпустил.

– Ростислав Кузьмич, – сказала Таисья. – Ты нас не остановишь?

– Не останавлию.

– Отчего?

Стужин поглядел на неё сверху.

– Оттого, что боярич меня спросил про размен, и я ему ответил, что размен дурной, – сказал он. – Я и нынче так думаю. Я, девка, всю жизнь так думал, и оттого у меня брата в яме кинули, а я стоял и считал, что нас мало.

Он поднял фонарь и не зажёл.

– Он тебя после спросит, – сказала Таисья.

– Спросит.

– И что ты скажешь?

– Правду скажу, – сказал Стужин. – Что видел, как вы уходили, и не остановил, и дал верёвку. Пусть вешает.

Он отошёл в темноту.

– Ворота сами отопрёте, – сказал он оттуда. – Я к ним не пойду. Мне ещё до утра совесть уговаривать.

Ворота отпирал Игнат, потому что у него были самые тихие руки.

Он взялся за засов и потянул.

Полоса пошла мягко и без звука.

Кузнец выправил её третьего дня, как барин велел, и посадил на сало, и с той поры засов ходил как по маслу и не будил никого.

Игнат постоял, держа ладонь на створе.

– Ну? – шепнула Таисья.

– Ничего, – сказал Игнат. – Я думал, скрипнет.

Они вывели лошадей в поводу и притворили за собой.

Глава 4 Верёвка

Захар пересчитал людей на разводе и пересчитал второй раз.

– Барин.

– Считай третий, – сказал Глеб.

– Я третий уже.

– Сколько?

– Пятерых нету, – сказал Захар. – Рыжей нету. Игната нету. Однорукого нету. Ефимки нету. И молодого Стужина нету.

Глеб стоял на крыльце и глядел на двор.

Двор стоял как всегда: дым от поварни, куры, стук из плотницкой. Дмитрий тесал при-
толоку и не поднимал головы.

– Лошади?

– Четыре. И седло Кузьмино.

– Когда?

– Ночью. – Захар мял шапку. – Барин, я на воротах ставил двоих, я их спрашивал. Они
говорят: не отпирали. Спали, вишь, оба.

– Не спали они. – Глеб сошёл со ступеней. – Стужин где?

– У конюшни.

Стужин стоял у конюшни и не делал вида, что занят.

Он стоял лицом к крыльцу и ждал, и, когда Глеб подошёл, вытянулся, как вытягиваются
перед тем, кому докладывают дурное.

– Говори, – сказал Глеб.

– Ушли в ночь, в третьем часу, впятером, – сказал Стужин. – Я их видел. Я их не остано-
вил. Я дал им аркан, десять сажень, и расставил порядок движения: Ефимка головным, рыжая
вторая, однорукий третьим, водонос при заводных, мой замыкающим.

– Твой?

– Мой, – сказал Стужин. – Гришка.

Глеб помолчал.

– Дальше.

– Дальше нечего. Я сказал им, что размен дурной, как и тебе сказал. Они пошли. Я сел
на чурбак и просидел до света. – Он поглядел Глебу в лицо. – Вешай, боярич. Я в своём праве
не был.

Глеб не ответил.

Он стоял и считал, и считал быстро, потому что считалось само.

Двор был на двадцать два мужика, годных стоять. Из двадцати двух ушли трое годных,
потому что рыжая и однорукий в счёт стены не шли. Оставалось девятнадцать. Ворота держат
четверо, гребень двое, гать двое посменно – это восемь в наряде и одиннадцать на отдых и
работу. Если придут на двенадцатый день, как обещал Стужин, то держать придётся девятна-
дцатью вместо двадцати двух, а это на одну смену меньше и на четыре часа сна меньше каж-
дому.

Дальше: Игнат ушёл. Игнат носил ордену ложь. Ложь про Сухово вскрылась четыре дня
назад или вскрыется завтра, и когда за Игнатом придут, а его не будет на дворе, орден решит,
что Игната предупредили. И тогда с Дмитрия спросят вдвое.

Дальше: Кузьма ушёл. Кузьма единственный на дворе умеет заполнять подорожную
рукой, которую Никодим признал годной. Восемь бланков остались, а рука уехала.

Дальше: рыжая ушла. Рыжая ходит по дорогам лучше всех, кого он знает, и это значит, что если её возьмут, то возьмут не по глупости, а по невезению, и, стало быть, шансы у них не худые.

Он додумал до конца и остановился.

Потом он остановился ещё раз, уже нарочно, и поглядел на то, что додумал.

Пять человек ушли ночью против его слова на дело, с которого могут не вернуться, и первое, что он сделал, – пересчитал наряд на воротах.

Не второе. Не третье.

Первое.

– Боярич, – сказал Стужин.

– Погоди.

Глеб стоял и ждал.

Он ждал того, что должно было прийти следом: злости, страха за рыжую, обиды, хоть чего-нибудь. Он честно отвёл на это время, как отводят время больному, которого просят пошевелить пальцами.

Ничего не пришло.

Пришло только уточнение: если брать двор ночью, то щель у бани надо закладывать нынче же, потому что теперь некому стоять у бани.

– Барин, – сказал Захар от крыльца. – Так что делать-то?

Глеб обернулся.

– Щель у бани заложить нынче, – сказал он. – Стужин, наряд переписи на девятнадцать. Ворота четверо, гребень двое, гать двое, остальные по работам. Смены по шесть часов.

– Сделаю.

– И вот ещё что. – Глеб поглядел на него. – Ты сказал: вешай.

– Сказал.

– Я тебя не повешу, – сказал Глеб. – Мне тебя вешать невыгодно: ты единственный, кто умеет ставить двор в оборону, а людей у меня стало на пятерых меньше.

Стужин медленно кивнул.

– Это ты хорошо ответил, боярич.

– Что в этом хорошего?

– Ничего, – сказал Стужин. – Я тебе, барин, за сорок лет насчитаю сотню командиров. Половина из них меня бы повесила со злобы, а половина простила бы с барского плеча. А ты меня оставил по надобности. – Он отвернулся к конюшне. – Я к такому не привык, вот и говорю.

Аглая нашла его в подполе, у черты.

Он лежал не животом, а сидел на корточках, положив ладонь на камень, и слушал.

– Тянет? – спросила она сверху.

– Нет.

– А чего сидишь?

– Проверяю.

– Который раз за нынче?

– Четвёртый.

Аглая спустилась по лесенке и села на нижнюю ступень.

В подполе пахло землёй и холодным железом, и от черты шло то ровное тепло, которое здесь стояло с той ночи.

– Он там? – спросила она, кивнув на камень.

– Он там.

– Не скулит?

– Нет, – сказал Глеб. – Оттуда вообще ничего не слышно. Я думал, будет слышно. Он поднялся и обтёр ладонь о порты.

– Кривая, скажи мне одну вещь как знахарка, а не как совесть.

– Спрашивай.

– Когда у человека отнимают ногу, – сказал Глеб, – он после ещё год чувствует пальцы, которых нет. Он ими шевелит, и они у него чешутся. Это оттого, что в нём осталась дорога, по которой шло от пальцев.

– Ну?

– А если человек ничего не чувствует, – сказал Глеб, – это значит, что дороги нет вовсе.

Что резали не палец, а выше.

Аглая помолчала.

– Ты нынче про них не заплакал, – сказала она.

– Я нынче про них наряд переписал.

– И это тебя, стало быть, наконец укололо.

– Не укололо, – сказал Глеб. – Я это заметил. Разница есть.

– Есть, – согласилась Аглая. – Разница такая, что первое лечится само, а второе – нет.

Она поднялась и постояла на ступеньке.

– Боярчик, – сказала она. – Я тебе иглу дала.

– Знаю.

– Знаешь?

– Я утром спросил у Марфы, что пропало из твоей коробки, – сказал Глеб. – Игла, ложка костяная и корпии на два раза.

Аглая усмехнулась.

– И ты мне за это ничего?

– А что тебе за это? – сказал Глеб. – Ты сделала верно. Если они дойдут, у девки будет четверть часа и рука. Если не дойдут, игла ничего не стоит.

– Ты и тут посчитал.

– Я тут посчитал, – сказал Глеб, – потому что иначе мне надо было бы на тебя кричать, а от крика игла обратно не приедет.

Он пошёл к лесенке и на середине остановился.

– Кривая.

– Ну?

– Я не сказал Дмитрию, – проговорил он. – Он с утра тешет притолоку и не знает, что они ушли за чужим дитём, а его сын остался на Устье.

– И не говори.

– Он к вечеру сам увидит, что людей нет.

– Пусть к вечеру. – Аглая полезла вверх. – Ты, боярчик, нынче второй раз за день не сделал худого. Я это отмечаю вслух, чтоб ты слышал, что я не только ругаться умею.

До Гарей шли три ночи и два дня, и днём стояли.

Ефимка вёл не большаком и не гатью, а по-мужицки: прогонами, задворками деревень, вдоль опушек, где земля твёрже. Он был из-под Никольского, и до тринадцати лет гонял тут скот, и знал, где какой прогон выходит.

Таисья ехала второй и держалась.

Ноги у неё были обмотаны сухим, и в лаптях на портянку они не мокли, и всё равно к концу второй ночи каждый шаг с лошади на землю она делала, задержав дыхание.

На дневках Кузьма расседывал одной рукой и не позволял помогать.

Гришка Стужин глядел назад.

Он глядел назад всякую четверть часа, отсчитывая про себя, как дед велел, и на второй день Таисья заметила, что он шевелит губами.

– Ты чего шепчешь?

– Считаю.

– Вслух не считай.

– Я про себя сбиваюсь.

– Тогда считай по лошади, – сказала Таисья. – Она у тебя головой мотает через раз. Досчитал до сотни мотков – оглянись.

Гришка попробовал и повеселел.

На третью ночь стали в ольшанике за Гарями, в трёхстах шагах от плетня, и Таисья пошла глядеть одна.

Она вернулась через час.

– Всё как было, – сказала она. – Собака у крыльца. Воротца в плетне не заперты. Рябой у себя.

– Спит? – спросил Кузьма.

– Не спит. У него в окне светло, и он ходит.

– Ночью?

– Ночью, – сказала Таисья. – Он и прежде ходил. Он там ждёт, ему делать нечего.

Она села на корточки и разгладила землю ладонью.

– Слушайте порядок, – сказала она. – Ефимка и Кузьма валят задний столб верёвкой с седла, тихо и на себя, не толкая. Столб ляжет наружу, в проулочек. В проулочке никого нет, я глядела, там крапива в рост.

– Собака, – сказал Ефимка.

– Собака старая и меня знает, я её два дня кормила, – сказала Таисья. – Игнат при лошадях, у ольшаника. Не в проулочке, а у ольшаника, слышишь? Тебе бежать с ними, а не драться.

– Слышу.

– Гришка.

Молодой поднял голову.

– Ты станешь в проулочке, с той стороны, откуда улица, – сказала Таисья. – И будешь глядеть на улицу. Ничего больше. Пойдёт кто – свистни и уходи к лошадям. Не задерживай, не хватай, не кричи. Свистни и уходи.

– А ежели он к вам пойдёт?

– Свистни и уходи, – повторила Таисья. – Я тебя, дурень, для того и ставлю, чтоб ты нам полминуты дал. Полминуты нам довольно, а больше ты всё одно не выступишь.

Гришка кивнул.

– А ты?

– А я в дом, – сказала Таисья. – Я одна. Она чужого мужика в избе увидит – закричит, и тогда всё.

Гришка помолчал.

– Дед тебе про меня чего говорил? – спросил он.

– Говорил.

– Чего?

– Что ты пойдёшь замыкающим и будешь глядеть назад.

– А ещё?

– А ещё ничего, – сказала Таисья.

Гришка кивнул и стал затягивать подпругу, и затягивал её дольше, чем надо было.

– Он мне в феврале при всех сказал: дурак, – проговорил он в седло. – При всех, рыжая. При Ефимке, при мужиках. Я с той поры на дворе так и хожу.

– Ходи, – сказала Таисья. – Дурак живой лучше умного мёртвого.

– Это ты сейчас складно.

– Это я сейчас верно. – Я одна. Она чужого мужика в избе увидит – закричит, и тогда всё.

Столб лёг мягко.

Верёвка натянулась, дерево крикнуло у комля, и Ефимка с Кузьмой отвели лошадей ещё на шаг, и плетень осел, как оседает пьяный: сперва медленно, потом сразу.

Крапива приняла его без звука.

Собака подняла голову от крыльца, встала, потянулась и пошла к Таисье, стуча когтями.

Таисья дала ей корку.

В сенях пахло квашеным. Она нашла дверь на ощупь, отворила и вошла.

Устинья спала на полатах у печи, а девка при ней, и в избе было душно и жарко, как в бане, и стоял тот особенный кислый запах, который Таисья узнала сразу и от которого у неё сжалось.

Она подошла и зажала Устинье рот.

Баба дёрнулась и открыла глаза.

– Тихо, – сказала Таисья в самое ухо. – Это я. Погребная. Тихо.

Устинья лежала и глядела.

Таисья убрала руку.

– Собирайся, – сказала она. – Мы за вами.

– Не пойду.

– Пойдёшь.

– Не пойду, – сказала Устинья и села. – Я тебе третьего дня сказала и нынче скажу. Покуда я тут сижу, он живой. Уйду – его на другой же день удавят.

– Его и так удавят.

– Может, и так. А может, нет.

Таисья набрала воздуху.

Она приготовила эту речь три ночи назад и повторяла её всю дорогу, и, когда открыла рот, ничего из приготовленного не пошло.

– Дай руку, – сказала она.

– Чего?

– Руку дай.

Она взяла Устинью за запястье, подтащила её ладонь к голове спящей девки и приложила пальцами за ухо.

– Слышишь?

Устинья замерла.

– Горячо.

– Горячо, – сказала Таисья. – А теперь пощупай, где кость за ухом. Вздудось?

– Вздудось.

– Белое видать?

– Ночью не видать.

– Днём видать, я глядела, – сказала Таисья. – Слушай меня и не перебивай, потому что я это несу от лекаря слово в слово и боюсь расплескать. У неё в ухе гной, и он пошёл в кость. Отсюда две дороги. Либо прорвёт наружу, и она выживет. Либо пойдёт внутрь, к оболочкам мозга, и тогда неделя, много две, и после этого не спасает никто.

Устинья не отнимала руку от головы дочери.

– Он это сказал?

– При всём дворе, за столом.

– Он лекарь хороший?

– Он лучший на сто вёрст, – сказала Таисья. – Он однорукому руку отнял на кухонном столе, и тот однорукий нынче стоит у тебя за плетнём и держит верёвку.

Устинья заплакала – без голоса, только лицо поехало.

– Так пусть он приедет.

– Он не приедет, – сказала Таисья. – Он не может. Он к своей земле прибит, и он посчитал, и по его счёту выходит, что ехать нельзя, и счёт у него верный.

– Тогда чего ты пришла?

– Затем, что счёт верный, а дитё помрёт, – сказала Таисья. – Мы, Устинья, все пятеро ушли против верного счёта, ночью, воровски. Дед внука отпустил, а барину не сказал. Так что ты давай собирайся, потому что нас за это либо повесят, либо простят, и мне охота, чтоб хоть было за что.

Устинья сидела.

Потом она сняла руку с головы дочери и стала натягивать чулки.

– Что братъ?

– Ничего. Дитё в одеяло и на руки.

Свист был короткий и с петухом на конце, как свистят те, кто свистеть толком не умеет.

Таисья была в сенях с девкой на руках. Устинья за ней.

Она услышала свист и сделала то, что делала всю жизнь: пошла быстрее и не стала смотреть.

Через двор, мимо собаки, к пролому. Кузьма поднял Устинью в седло, Ефимка принял девку.

– Гришка? – сказала Таисья.

– Свистнул и стоит, – сказал Ефимка.

– Как стоит?

Гришка стоял в проулке, в двадцати шагах, спиной к ним, и не уходил.

В другом конце проулка, у выхода на улицу, стоял человек.

Он стоял без фонаря, и потому Таисья не сразу его разглядела, а разглядев, узнала по посадке головы: рябой сидел на срубе так же, набок.

– Гришка! – сказала Таисья вполголоса. – Ко мне!

Гришка не обернулся.

Он стоял, расставив ноги, и в руке у него был дедов кистень, и он глядел на человека в конце проулка, и человек глядел на него.

– Ефимка, лошадей за олышаник, – сказала Таисья. – Кузьма, бабу веди. Ходу.

– А ты?

– Ходу, я сказала.

Она пошла в проулок.

Она прошла шагов пять, когда рябой мещанин поднял руку.

Он поднял её без замаха, коротко, как подымают, чтоб показать: вот, гляди.

В руке у него ничего не было.

– Малый, – сказал он негромко, через весь проулок. – Ты чей?

Гришка молчал.

– Ты уходи, малый, – сказал рябой. – Я тебя не держу. Я гляжу.

Гришка перехватил кистень.

– Я не малый, – сказал он.

И пошёл вперёд.

Он пошёл ходко, с кистенём, и на четвёртом шаге рябой отступил на полшага в сторону, как отступают в двери, чтоб пропустить, и Гришка провалился мимо него, и рябой ударил его в бок снизу, коротко и без размаха, тем самым движением, которым только что подымал руку.

Гришка сел.

Он сел на колени и остался так, и кистень выпал в крапиву.

Рябой отступил на шаг и обтёр руку о полу.

Таисья была в десяти шагах.

Она не побежала на него. Она бросилась вбок, к плетню, где на земле лежал сваленный столб, и с земли, не глядя, схватила первое, что попало, а попала ей та самая верёвка, десять сажен, ещё захлестнутая петлёй за комель.

Рябой шагнул к Гришке.

Таисья хлестнула.

Она хлестнула не как бьют кнутом, а как бросают невод в Нижнем городе – с разворотом от бедра, всей рукой, и десять сажен мокрой пеньки развернулись в темноте и легли рябому поперёк лица и плеча.

Он охнул и закрылся.

Она уже была рядом.

Она не била его. Она сделала то, чего он не ждал: обежала, села на корточки, взяла Гришку под мышки и потащила спиной вперёд, упираясь пятками в землю.

Гришка был тяжёлый. Он был не тяжёлый – он был мёртвый груз, а это разное, и это она поняла в первый же шаг.

– Дура, – сказал рябой сзади. Он сказал это без злобы. – Он тебе не жилец. Ему в печень вошло.

– Знаю, – сказала Таисья и потащила дальше.

Рябой не пошёл за ней.

Он стоял в проулке, держась за щёку, и глядел, как она тащит, и не сделал ни шага.

– Слушай сюда, девка, – сказал он ей вслед. – Ты передай своему боярину, что я его слова не дождался. И что я нынче видел, как он ответил.

Таисья дотатила Гришку до пролома, и там Ефимка перехватил, и вдвоём они закинули его поперёк седла.

На выезде из ольшаника она обернулась.

Рябой стоял на том же месте, в конце проулка, и не двигался, и в темноте была видна только его белая рубаха.

Гришка умер к рассвету, в четырёх верстах, у мочажины.

Он не приходил в себя и не говорил, только один раз попросил пить, и Таисья не дала, потому что при таком не дают, и это она тоже знала от барина.

Они положили его в мочажине под коряги и завалили дёрном, потому что везти было нельзя: с телом на седле их взяли бы на первой же дороге.

Таисья срезала прядь с его затылка и завязала в тряпицу.

– Деду отдам, – сказала она.

Ефимка стоял и глядел в землю.

– Он свистнул, – сказал он. – Он всё сделал, как велено. Он свистнул и стоял.

– Он свистнул и стоял, – сказала Таисья.

– Так чего ж он...

– А того, что ему в феврале сказали «дурак», а нынче сказали «я тебя не держу», – сказала Таисья. – Садись.

Устинья сидела в седле с девкой на руках и не подымала глаз.

– Из-за нас, – сказала она.

– Из-за нас, – сказала Таисья. – Ты, Устинья, эту мысль отложи покуда в сторону, а то она тебя с седла сронит. У тебя дитё горит.

Она подъехала ближе и потрогала девке лоб, и лоб был сухой и горячий, как печной бок.

– Ефимка, – сказала Таисья. – Нам до дому четыре ночи.

– Четыре.

– Не довезём.

Она поглядела вперёд, туда, где над займищем вставал белый пар.

– Где тут ближе баня? – спросила она. – Не изба. Баня, чтоб на отшибе и топилась.

– За Никольским, у вдовы, – сказал Ефимка. – Версты три.

– Веди.

Дмитрий пришёл к Глебу в тот же вечер, когда посчитал сам.

Он не стучал и не звал. Он вошёл в горницу с теслом за поясом, встал у порога и сказал:

– Их пятеро ушло.

– Пятеро, – сказал Глеб.

– В Гари.

– В Гари.

Дмитрий постоял.

– За Игнатовой, – сказал он.

– За Игнатовой.

– А мой на Устье.

– А твой на Устье, – сказал Глеб.

Дмитрий поглядел на него и стал разворачиваться к двери, и уже в развороте, не глядя, сказал:

– Ты знал?

– Утром узнал.

– И не послал за ними?

– Не послал.

– Отчего?

– Оттого, что догнать я их не мог, а если б и догнал, воротить не сумел бы, – сказал Глеб.

– И оттого, что теперь, когда они всё равно идут, мне выгоднее, чтоб они дошли.

Дмитрий кивнул.

– Ага, – сказал он. – Стало быть, они пошли против тебя, а вышло по-твоему.

– Вышло по-моему.

– У тебя всё выходит по-твоему, барин. – Дмитрий взялся за скобу. – Ты гляди только, чтоб напоследок не оказалось, что это не ты выходишь.

Он ушёл.

Глеб посидел, потом встал и вышел на крыльцо.

Двор укладывался на ночь. У бани закладывали щель: Захар держал фонарь, двое мужиков ставили стояк, и стук стоял ровный.

Он стоял и слушал стук и в третий раз за день пересчитал наряд.

Девятнадцать. Ворота четверо, гребень двое, гать двое.

Он остановился на этом и заставил себя досчитать иначе.

Пятеро. Рыжая, водонос, однорукий, Ефимка, Гришка семнадцати лет.

Он подержал их в голове по одному, как держат в руке предметы, которые надо запомнить, и стал ждать.

Ждал он дольше, чем утром.

«Ты зря себя мучишь, – сказал холодный. – Ты их посчитал верно оба раза».

– Я знаю, что верно, – сказал Глеб.

«Тогда что тебе надо?»

Глеб постоял, глядя, как ставят стояк.

– Мне надо, чтоб мне было плохо, – сказал он.

Холодный не ответил.

Он не ответил не оттого, что не хотел. Он не ответил оттого, что вопрос был не к нему, а рядом стоять было некому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.